



Г. П. ФЕДОТОВ

На поле Куликовом

1

Настоящая работа задумана как опыт комментария к лирическому циклу Блока, носящему это имя, — комментария неполного, отнюдь не формального, а только тематического. Впрочем, тематический момент в творчестве Блока бесспорно первенствует. Все оно может быть воспринято как движение нескольких основных символов (быть может, даже символа), притом перерастающих план искусства. Символы Блока коренятся в самой глубине его личности, своим разворачиванием определяют его жизнь и даже смерть. Они имеют для него трагическое значение.

Впрочем, не только для него. Некоторые из них имеют такое значение и для всех нас. Таков прежде всего символ России.

Национальное самосознание есть непрерывно раскрывающийся духовный акт, смысл которого, говоря словами В. Соловьева, есть постижение в судьбе и духе народа того, «что Бог думает о нем в вечности»¹. Мы всегда неполно и отрывочно созерцаем отдельные стороны этой таинственной личности. Самые устойчивые национальные характеристики приходится пересматривать, перестраивать, потому что мы имеем дело с подвижным объектом, с меняющимся образом. Самосознание народа непосредственно совпадает с его актуализацией. Новый подвиг, новая жертва — и новый грех — влекут за собой новую установку национального сознания. В этой опознающей работе участвуют, по следам исторического деятеля, проясняя его часто слепую интуицию, философ, историк и поэт. Но поэт и здесь нередко оказывается предвестником. Ему дано упреждать не только историческую мысль, но и самый исторический опыт.

Стало трюизмом утверждать, что поэт Блок был пророком революции, но все еще нельзя без волнения читать среди юношеских «Стихов о Прекрасной Даме»:

Мой конец предначертанный близок,
И война, и пожар впереди².

Или:

Увижу я, как будет погибать
Вселенная, моя отчизна³.

В его стихах была не только «роковая о гибели весть»⁴ — гибели мира старого. В них жило предчувствие и новой России: точнее, творящих ее стихий. Мы, пережившие революцию, имеем в ней огромный опыт для нового осознания России. Завершающаяся революция, конечно, выводит нас далеко из мира Блока, застигнутого и испепеленного пожаром. Но до осмысления всего нового опыта еще далеко. Лава извержения еще не застыла. Наша мысль не в силах еще претворить новой жизни. Даже опыт Блока воспринят и уяснен нами не до конца, хотя он уже не современен: новые поколения смотрят на него как на давно преодоленную ступень. Мы считаем, что для нового национального сознания бесполезно подвести итоги этому уже забываемому опыту поэта.

Тем самым я хочу сказать, что мы подходим к нашей задаче не бескорыстно и не эстетически. Мы хотим обогатить через Блока наше знание о России.

Мы выбираем за отправной пункт «На поле Куликовом», потому что это произведение центрально (даже по времени — 1908): в нем сходятся концы и начала Блока, «Ante lucem» (1898) и «Скифы» (1918). Скажем заранее, последней целью нашей работы должно быть понимание «Скифов», последнего слова Блока о России. Ключ к ним — «На поле Куликовом». Вместе с тем Куликовский цикл, взятый сам по себе, весьма загадочен. Он прямо требует комментария. Но, раскрыв его смысл, мы непосредственно получаем и разгадку «Скифов».

I

Река раскинулась. Течет, грустит лениво
И моет берега.
Над скудной глиной желтого обрыва
В степи грустят стога.

О Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!

Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Наш путь степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы ночной и зарубежной —
Я не боюсь.

Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль.
В степном дыму блеснет святое знамя
И ханской сабли сталь.

И вечный бой! Покой нам только снится.
Сквозь кровь и пыль
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь!

Уже этот первый листок лирического пятилистника волнует противоречивостью образов. Где мы? На берегах северной реки или в южных степях? Грусть реки и стогов, скудность глины указывают на великорусский север, близкий и родной по эту. Но кобылица его мнет ковыль! И почему она «степная» (дважды)? Символ степи здесь очень значителен, так как повторяется до пяти раз. Конечно, степь, где «грустят стога», совсем не та степь, где растет ковыль. В первом случае степь взята вместо лугов, но взята умышленно, предвваря основную тему: тоска-печаль северного поля вливается в тоску-страсть южных степей. Эта безбрежная тоска — «твоя, о Русь!», и вместе с тем она «пронзает грудь стрелой татарской воли». Тоска Руси — татарская тоска. Поэт мчится на бой с татарской ратью, неся в груди татарскую тоску по древней, степной воле. Вот основное противоречие, определяющее весь сдвиг образов. С ним связано и другое. Степная воля лирически звучит по-разному. Сначала это радостное упоение: «Я не боюсь... Домчимся. Озарим». И вдруг ужас: «Останови!.. Испуганные тучи... плачь, сердце, плачь!..» Итак, вся пьеса проходит в трех вариациях основной темы степной тоски. Первая вариация: печаль и верность

(«жена», «долгий путь»). Вторая — страсть; третья — отчаяние. Переломы падают на вторую и пятую строфы. «Стрела татарской воли» вторгается совершенно неожиданно, разрушая печальную верность «долгого пути». Но ужас отчаяния подготавливается ужасом вечной битвы: «Покой нам только снится сквозь кровь и пыль». Выражаясь языком этики, можно сказать, что преступление (измена) менее мотивировано, чем наказание.

Часто говорят, что в лирике романтического поэта, каков Блок, нельзя искать строгой четкости образов. Нельзя требовать соблюдения идеологического тождества. Это, конечно, верно. Но верно и то, что сдвиги смыслового значения образа у Блока не случайны: они отмечают смену эмоциональных тонов, ряд шагов, образующих определенный путь, развитие темы. Вот почему мы считаем себя вправе подвергнуть этот лирический отрывок такому придирчивому анализу. В результате анализа он не распался на куски, а обнаружил свой подлинный смысл. Смысл этот и есть настоящая тема всего пентаптиха. Последующие пьесы развивают отдельные темы, уже содержащиеся здесь: вторая и третья — тему верности, четвертая — страстного отчаяния.

Легкие и чистые хорей — как песни детства — объединяют вторую и третью пьесы, уже самой формой своей изолируя их от стремительных, отрывистых ямбов первой и томящих, безвольных амфибрахий четвертой. Тема верности строга и проста. Ночь перед битвой. Как в летописи, слушают голос земли. Не радостное ожидание боя, не мысль о победе — жертвенная обреченность «сказания о граде Китеже», «Не вернуться, не взглянуть назад...», «Светлый стяг над нашими полками не разыграет больше никогда». И эта покорная жертва смиренна: «Я не первый воин, не последний». Погибнуть, раствориться в жертве народной. Ее молитвенный обряд, церковный, всенародный, — единственная чаемая награда. Робка и скромна личная нота в заключительном призыве к светлой жене — «помянуть за раннею обедней мила друга».

От смирения и жертвенной верности к радости любви услышанной, к восторгу неземных видений. В третьем стихотворении отходят вдаль грозные голоса битвы, становясь лишь предвестниками таинственной встречи. «В темном поле были мы с Тобою». Только двое, я и Ты. Русь, «жена моя» первой пьесы, «светлая жена» (с маленькой буквы), земной образ иной, Светлой, здесь отступает перед Ней, безымянной, называемой Ты. Светлое видение оставляет на щите друга свой «неру-

котворный лик», который будет его эгидой перед «черной тучей орды»: «Светел навсегда»!

Навсегда?

Опять с вековой тоскою
Пригнулись к земле ковыли,
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали.

Срыв после мистического подъема головокружительно резок:

Развязаны дикие страсти
Под игом ущербной луны.
И я с вековой тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою.
Куда мне лететь за тобой!
Я слушаю рокоты сечи
И трубные клики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.

Русь далеко. Кругом татарская степь. Вчерашний воин белого стяга бесцельно рыщет во власти темной, вражьей стихии.

Вздываются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем...

В бесцельной, борьбе с собой, он еще не изменник, он находит силы молить исчезнувшую:

Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи!

Но он забывает ее лицо, он сомневается в ее природе. Он пишет ее с маленькой буквы. Кто она, небожительница или смертная?

Заключительная пьеса не разрешает противоречия; она отодвигает его решение в будущее. Сдержанное спокойствие почти классических ямбов лишь приглушило остроту напряженности. Мы возвращаемся к исходному положению:

Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла...
Доспех тяжел, как перед боем,
Теперь твой час настал. Молись!

Молись о том, чтобы быть верным, быть «светлым навсегда», чтобы сделать последний выбор. И, однако, после пережитого опыта, мы менее всего уверены в том, каков этот выбор. Не в смирении, не в жертвенной готовности встречает поэт «начало высоких и мятежных дней». Мятежных? Разве смерть за святое знамя — дело мятежа, хотя бы и высокого? Упоение битвы манит. «Не может сердце жить покоем». Но мы уже знаем это: «Покой нам только снится... Покоя нет». Это воет степная тоска, страстный ветер над ковылевым простором. Дух беспокойства и мятежа поэт уже прочно связал с татарской стихией. Это против него бросает он свое последнее заклятие: «Молись!» Но до конца остается темным: когда настанет час последней битвы, которая для Блока была не поэтической фикцией, а реальным ожиданием всей жизни, в чем он будет стане, в русском или татарском?

2

Ставя так вопрос, мы, может быть, ставим его неправильно. Мы уже видели, что для Блока «путь татарской воли» есть путь Руси. Измена Руси была бы невозможна без изменчивости ее собственного образа. Самый мотив измены нами не вымышлен, не вложен насильственно в лирический цикл Куликова поля («темные мысли», «дикие страсти»). Но все же мы провели глубокий разрез там, где у поэта едва намеченные рубцы. Он пожелал скрыть свою измену в игре меняющегося лица Руси. Но не пожелал скрыть до конца. Сама тема Куликова поля требует беспощадного разделения двух стихий («биться с татарвою»). Блок сознавал и эту неизбежность, и личную для себя невозможность бесповоротного выбора. Отсюда неразрешенность конфликта. Для нас же встает задача: выяснить, как возникло и какой смысл имеет в поэзии Блока раздвоение лица России.

Тема России у Блока начинает звучать с особой силой в последний период его творчества. Но уже третья пьеса Куликовского цикла прямо говорит нам — предполагая, что мы этого не знаем, — что Россия-родина для Блока есть одно из воплощений Той, о которой он пел сначала под псевдонимом Прекрасной Дамы. Это заставляет неизбежно связывать тему России с основной — в сущности, единственной — темой Блока. Но, говоря об общеизвестном, можно быть кратким.

Поэзия Блока растет и крепнет в разложении единого образа, озарившего его юность. Он идет путями творческих паде-

ний, обогащающей нищеты. Его талант вскормлен и вспоен кровью погибающей личности. Многоликость Прекрасной Дамы не просто ряд икон, воплощений, но ряд измен. В дни безбурных восторгов его гложет предчувствие, и с поразительной четкостью он предрекает собственную судьбу:

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельные мечты! *⁵

Уже здесь его грядущая измена оправдывается многоликостью Ее, как бы Ее обманом.

В роковой год (1902) «Свершений» (Ст. о Пр. Д. IV)⁶, когда демонические соблазны начинают искушать поэта, он высказывает вслух свое подозрение:

В тебе таятся в ожиданьи
Великий свет и злая тьма...⁷ —

и готов уже видеть во лжи и обмане природу вечной женственности:

Я люблю эту ложь, этот блеск,
Твой манящий девичий наряд...
Как ты лжива и как ты бела!
Мне же по сердцу белая ложь...⁸

Белая — запомним эпитет — это все та же, о которой он только что пел:

Белая Ты, в глубинах несмутима...⁹

Всегда в часы холодных раздумий, в часы «возмездий» поэт определяет свой жизненный путь как путь измен:

Ты пред вечностью полон измен¹⁰, —

и видит свой жребий отмеченным в круге безысходных повторений: «любить Ее на небе и изменить ей на земле»¹¹.

Конечно, эта онтологическая измена определяет и указанный выше закон его поэзии: постепенные сдвиги образов, меняющих свой смысл.

* Датировано 1 июня 1901 г., с. Шахматово.

Мы, разумеется, не будем следить за всеми масками, в каких является Прекрасная Дама. Нас интересует лишь образ России. Его значение, поистине особое, не сравнимое с другими. Слово «маска» всего менее к нему приложимо. Средневековая дама, Снежная дева, Коломбина, Незнакомка — все они носят печать призрачности, воздушной грезы. Поэт сознательно отдается их обману, лишь провидя в их чертах неизменный лик. Потому руки его неизбежно обнимают пустоту, а душа опалена «языками преисподнего огня»¹². К России, родине он возвращается, ища спасения от обманов, как в подлинной правде. Россия — и только Россия — есть действительное воплощение Девы, то есть живая плоть, а не романтическая мечта. Прикасаясь к родной земле, поэт перестает быть романтиком, в жажде подлинной, верной земной любви. Не потому, чтобы его «обольстил» образ России, а потому, что без России он больше не в силах жить.

Он готов принять ее такой, какова она есть, родной ему в святом и грешном, чтобы, приобщившись к ее могучей жизни, исцелить в ней свое больное «я».

Но до этого возвращения к родине какой долгий, мучительный путь!

Долгие годы память германской крови боролась в поэте с памятью родины. Он чувствует себя «потомком северного скальда»; его тянет в романское средневековье, в мир скандинавских саг. Рейн, Гейне, Сольвейг, Ночная фиалка, короли, рыцари и дамы — вот мир, в котором живет поэт, который сливается для него даже с землей петербургских окраин («Ночная Фиалка») и с петербургским взморьем (тема «Кораблей»). Но уже русские мотивы, сперва робко и отдаленно, прозревают эту сложную музыку.

В «Стихах о Прекрасной Даме» (1901—1902), даже в «Ante lucem» (1898—1900), столь отрешенных и бескровных, есть некоторый конкретный фон: земной пейзаж. Небесная лазурь и пояс зорь — обычное место действия или даже действующее лицо. Там, в небесах, разыгрывается подлинная драма, в борьбе света, тьмы и облаков. Но и земля служит подножием небесного театра. Линии пейзажа даны скупо, как на иконе, но они конкретны, они безошибочно характеризуют родной поэту русский, подмосковный ландшафт: «Роца у оврага, зеленый холм... Море клевера... Белая церковь вдали... Камыши, осока... Кругом далекая равнина, да толпы обгорелых пней».

Они повторяются, эти намеки, и белая церковь, и клевер, и камыши, свидетельствуя о памяти родной, не пригрезившей-

ся земли. Есть одна деталь, которая, как мы знаем из книги Бекетовой¹³, характерна именно для шахматовского пейзажа:

Там над горой твоей высокой
Зубчатый простирался лес¹⁴.

Этот образ, прочно связанный с закатным видением Девы, расширяется до космического значения: «зубчатой земли».

Над русской землей поднимается русское небо, в огнях зари горят небесные терема Царевны, с узорной резьбой коньков, с крыльцом, «словно паперть», под углом гул колокольных звонок. Войди в «узорчатую дверь» и увидишь «узорную скатерть»; в углу образа и красные лампадки. Здесь царица смотрит заставки, «буквы из красной позолоты», царица кормит белых голубей¹⁵, и облик ее рисуется чертами русской сказочной красоты: «молодая, с золотой косою, месяц и звезды в косах». Поэт сам тогда чувствует себя героем русской сказки:

Входи, мой царевич, приветный...
Мой любимый, мой князь, мой жених¹⁶.

Изредка терем царицы расширяется в сказочную страну, в преображенную Русь, где в вечер под вербную субботу идут боярышни, где царю и боярам снятся заморские гости. Почти всюду на неясном бытовом фоне этой фантастической Руси — икона, свеча, лампада, кроткая поэзия церковного обряда.

Весь этот мир образов совершенно лишен плотности, тяжести, характерной для условно-национального русского стиля. Из каких впечатлений строится этот мир? Мы видели отражения русского искусства (деревянное зодчество Севера, книжная миниатюра), русской сказки, песни, духовного стиха и церковного обряда. Этот мир, построенный из тех же элементов, как и живописная Русь, открытая Васнецовым, Билибиным, Нестеровым на рубеже XX века. Русь Блока еще более воздушна, бесплотна, ирреальна. Ее идея — девическая чистота и мужская верность. Это святая, «белая» Русь. За лазурью неба, за алыми зорями именно белый цвет особенно дорог поэту (см. выше: «Белая Ты»).

Прилетали белые птицы...
И плескались белые перья...

Белая рука, белый, белогрудый конь, белые цветы и даже белые слова... Тот же смысл имеет первоначально образ снегов:

Отошла я в снега без возврата, —

прежде чем обернуться синей метелью и заморозить поэта недобрым колдовством. Для Блока «Прекрасной Дамы» белый цвет столь же характерен, как синий романтический цвет для поэта «Снежной Маски» и «Незнакомки».

Как ни слабо намечен у раннего Блока русский пейзаж и образ сказочной Руси, но, сжившись с ними, нельзя не почувствовать между ними некоторого противоречия. Среднерусский московский пейзаж Блока слишком спокоен, реален, цветущ для пригрезившегося рая и для томящейся по нем души. С годами Блок сознает это и навсегда отказывается от «зеленого пира» земли. В одном из стихотворений второго тома, в кольцовских хореях, поэт убедительно показывает, почему для него невозможно кольцовское наивно-радостное упоение родной природой:

Не мани меня ты, воля,
Не зови в поля!

Но здесь дана уже сложная мотивация. С обычным для Блока сдвигом образов и эмоциональных тонов поэт делает здесь два, в сущности, противоположных признания. Языческое слияние с родной землей для него невозможно потому, что он получил религиозное посвящение от «белой руки» (это в прошлом), но оно невозможно и потому, что он живет, в настоящем, с опустошенной, нищей душой.

Мы понимаем, почему шахматовские поля и рощи не вернуться в стихах поэта, но не вернуться и розовые сказочные образы «Белой Руси». Но об этом позже. Сейчас же необходимо указать, что в русские темы певца Прекрасной Дамы врезывается еще один, всего более волнующий нас мотив: чувство исторического рока. Поэт переживает его в прошлом родины, перед васнецовским Гамаюном, который

Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых¹⁷.

Он читает этот рок и в грядущем, по каким-то ему одному ведомым знамениям времени. Мы уже видели примеры его исторического ясновидения. Особенно поразительно известное стихотворения «Все ли спокойно в народе?» с его страшным призраком «народного смирителя» («Распутья», 1902—1904).

Заканчивая этот анализ, подчеркиваем, что образ Руси у раннего Блока слагается из трех элементов: в него входит сред-

нерусский, подмосковный пейзаж, религиозно-сказочное восприятие древнерусской культуры (Белая Русь) и прозрение русских исторических судеб, всегда трагических. Все это только намечено, очерчено бледно, как и вообще русские темы тонут в массе иных, по большей части отвлеченных тем, вдохновляющих певца Прекрасной Дамы.

3

Когда совершилось неизбежное — «Ты в поля отошла без возврата» (или «в снега»), — поэт очнулся на земле. Но это не твердая, цветущая земля, а наиболее зыбкая, наиболее фантастическая, ирреальная из земных стихий, сродни облакам и туманам, — болота, «пузыри земли»¹⁸. По его признанию, он не может «говорить без волненья» об этих пузырях земли, читая о них в «Макбете»¹⁹. Тема болот чрезвычайно характерна для всех наших символистов: она отвечает общему для них ощущению жизни как таинственного тления. В этом символе заключена порочность и вместе беззащитность, обреченность, тоска по нежной смерти. Каждый по-своему переживает эту волнующую тему. У Блока пузыри земли пережиты наиболее чисто и даже религиозно. Не здесь, не в тлене плоти таились его демонические искушения. Как это ни странно, в недвижной тишине болот поэт видит образ вечности и верности, нетления сквозь вечный тлен:

Полюби эту вечность болот...
Этот куст, без нетления, тощ.

Опускаясь так глубоко на дно земли, он еще видит над собой «алую ленту» зорь своей подруги и клянется ей в верности:

Я с тобой — навсегда, не уйду никогда
И осеннюю волю отдам.

Здесь спасение от страстей, от дикой воли, в смиренной покорности.

Мне болотная схема — желанный покой.

Но, конечно, поэт обманывает себя, видя «ласку подруги» в «старине озаренных болот». Там он оказывается совсем в другом обществе — «тварей весенних», «болотных чертенят», «болотных попииков». Детски трогательные, смиренные твари, но, разумеется, некрещеные, разумеется, «нежить, немочь вод».

И поэт спускается в эти низы тварного мира, лишённые сознания добра и зла.

Душа моя рада
 Всякому гаду,
 Всякому зверю
 И о всякой вере.

Поэт сливается с этим миром в забвении, в утрате своей личности:

Я, как ты, дитя дубрав,
 Лик мой так же стерт...
 Мы — забытые следы
 Чьей-то глубины.

Это уже не смирение только, не унижение, а уничтожение «я», отказ от бессмертия. Запомним эту черту: готовность к онтологическому отречению от своей личности, безмерность в нисхождении, — она характерна и для некоторых моментов в отношении Блока к России.

Из этих болот она и возникает — новая, уже не сказочная Русь Блока. Как ни зыбка болотная почва, это все же почва, земля. Поэт реально соприкоснулся с ней, реально пережил землю — мы знаем где: в болотных окрестностях Петербурга во время своих уединенных скитаний, о которых он рассказал нам в «Ночной Фиалке». В Шахматове цветущая земля почти не останавливала его взоров, прикованных к небесным пейзажам. В Петербурге он впервые полюбил землю, отдался стихии болот, ища потерять в них свое разлюбленное «я». Петербургские болота открыли для него аскетическую красоту северной России и ее религиозную идею. «Болотная схима» принимает конкретные формы, и из болот возникает монастырь:

Я живу в отдаленном скиту...

Болота отвердевают в северно-русский пейзаж, может быть, воспринятый не без влияния Нестерова, и на этой скудной и нищей земле происходит первая встреча Блока с Христом. В стихотворении «Вот Он — Христос — в цепях и розах» неприятной фальшью звучит начало: здесь есть привкус розенкрейцерства, религиозное ощущение Андрея Белого. Блок почему-то дорожит этим символом розы, когда решается говорить о Христе: таков Христос «Двенадцати». Но дальше образ Христа развивается в полном единстве с «окладом убогой природы».

Единый, Светлый, немного грустный —
 За ним восходит хлебный злак,
 На пригорке лежит огород капустный,
 И березки и елки бегут в овраг.

И все так близко, и так далеко,
 Что, стоя рядом, постичь нельзя
 И не постигнешь синего Ока,
 Пока не станешь сам, как стезя...

Пока такой же нищий не будешь,
 Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
 Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
 И не поблекнешь, как мертвый злак.

«Глухой овраг», «истоптанна стезя» повторяют тему болотного смирения, и нищий Христос выступает на фоне нищей Руси почти как символ небытия.

Но это смиренное небытие недостижимо. Покой болот сменяется тоской осеннего безвременья, уничтожение — распятием. Алые грозди рябины в ржавой листве — как капли крови. Он сам, поэт, вознесен на крест над свинцовой рябью осенних рек «пред ликом родины суровой». И видит:

...по реке широкой
 Ко мне плывет в челне Христос.

В глазах такие же надежды,
 И то же рубище на Нем.
 И жалко смотрит из одежды
 Ладонь, пробитая гвоздем²⁰.

Христос теряет последние знаки божественности, превращаясь в двойника поэта. Уничтоженный лик становится жалким и распятие безнадежным. Блок мог религиозно пережить лишь Сына Человеческого, соблазненный идеей своего с ним единосущия. Он и сам знает, что его Христос — «не воскресший».

Не забудем этих как бы невзначай брошенных слов: «пред ликом родины». Они говорят о том, что и осенняя тоска земли, и образ Христа для поэта слились в нераздельное ощущение родины. Ее лик становится все более четким, и наступает момент, когда он наконец уже не просвечивает сквозь северный пейзаж, а одевается в него. Есть разница между живым ощущением родины, которое всегда было свойственно Блоку, и отношением к ней как к живому лицу. Отныне уже не небесная Подруга и не Христос принимают его песни, а живая родина, Русь, Россия.

Как характерно для Блока, что рождение этой новой его любви связано с новым — для морального суда — падением. Северная аскетическая Русь обращается к поэту новым ликом: кровь рябин, песня дождя и ветра вдруг начинают звучать для него не крестной мукой, а хмельным разгулом:

Разгулялась осень в мокрых долах, —
 Обнажила кладбища земли.
 Но густых рябин в проезжих селах
 Красный цвет зареет издали.
 Вот оно, мое веселье, пляшет...²¹

Навстречу этому призыву «осенней воли» откликается безумная, хмельная душа поэта, и он торжественно и несколько декларативно совершает свой выход в Русь: «Выхожу я в путь...»

Буду слушать голос Руси пьяной...
 Приюти ты в далях необъятных!
 Как и жить и плакать без тебя!

Впервые Русь, родина — «ты», живая, хотя совсем не святая — мать ли, жена ли, любовница? — с которой поэт связывает себя вечным, на этот раз нерушимым обетом:

Твой простор навеки полюблю...

Много раз еще изменит свой облик Русь, но поэт уже никогда не изменит ей.

4

Мы по необходимости изолируем тему России у Блока и отказываемся показать жизнь образа России в общем лирическом потоке его творчества. Задача эта и невыполнима в точности и строгом смысле впредь до установления хронологической сетки его «трудов и дней». Впрочем, хронология здесь не имеет решающего значения. Несомненно, что первые звуки России раздались еще тогда, когда поэт был пленником «Снежных Масок» и «Незнакомок». Долго еще продолжается перебой последних «арф и скрипок» и новых песен родины. Но что из того, что «Песни Родины»²² и «Возмездия» одновременны? Тематически непосредственно ясен переход от:

Я пригвожден к трактирной стойке —

к «Осенней воле»:

Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю.

До этого момента зарождение и рост русской темы протекают на заднем плане, как мотив побочный, лишь теперь становящийся леймотивом. Этот прорыв темы России с нарастанием реализма в поэтической стихии Блока и выражается, как мы сказали, в очеловечивании образа родины.

Новая Россия Блока сразу раскрывает свое женское лицо. Для всякого народа стихия родины, как стихия материнства, является в женском лике. Для Блока это, конечно, не могло быть иначе, хотя сыновнее чувство к России ему чуждо. Его отношение к ней всегда эротично. Как образ любимой, она не терпит в себе никаких мужских черт. В России Блока нет места мужику, нет места и трудовой страде, которая разрушает эротическое созерцание. Одно это проводит пропасть между Блоком и народническими поэтами, у которых (Кольцова, Некрасова) он заимствует ритмы. Это отличает его и от молодых крестьянских поэтов, воспитавшихся на нем.

Разумеется, у Блока нет и следов аристократического презрения к народу как к трудящимся низам. Он всегда остро болел их страданиями. Но, как певец нищеты и горя, Блок знал лишь петербургскую улицу, рабочих, швеек, проституток — крестьянский мир остался ему чужд. Голос мужицкой Руси не доходил до его сознания. Он бродил по русским дорогам, глухой к этим звукам, слепой ко всему, кроме родной земли и женских лиц, сливающихся в одно лицо:

...лес да поле,
Да плат узорный до бровей...²³

Женское лицо облекается в пейзаж и характеризуется культурно-этнографически («узорный плат»). Мы узнаем две стихии их трех, из которых слагался образ родины в цикле «Прекрасной Дамы». Скоро с ним соединится и третья — стихия исторического рока, — получая преобладание в последних стихах Блока о России. Но и пейзаж, и культурная печать изменились. Вместо древнего искусства — живая этнография, вместо среднерусского пейзажа — пока — Северная Русь.

Эта Северная Русь является поэту, естественно, не в летнем или весеннем убранстве, а в слезах осенних дождей или погребенная в зимних сугробах. Мы видели двойное значение осени для Блока: вольный разгул и распятие. Есть в осени и третий смысл — тоже знакомый нам: смысл болотного покоя и уничтожения. Когда стихает ветер и дождь, «осенний день высок

и тих», и в сжатых полях, где стелется дым над овином, слышен плач улетающих журавлей.

И низких, нищих деревень
Не счесть, не смерить оком...

О нищая моя страна,
Что ты для сердца значишь? ²⁴

Нищета любимой пронзает до боли обнищавшее сердца поэта и связывает их неразрывным кольцом, «перстнем-страданием». Только такой и только здесь Русь для него жена, а не любовница.

Это поле, да еще сжатое, — самая бесстрастная и самая строгая черта родного лица. Но во всех осенних освещениях — в пасмурный, тихий день, в разгуле ветров и в распятии осенней смерти — ощущается единство этого лица. Одна и та же на разных путях страдания, родина остается чистой, нестрашной, Христовой. Но движение образа только началось. С Россией повторяется с роковой необходимостью то же, что было с Прекрасной Дамой. По мере того как поэт вглядывается в ее лицо, он открывает в нем иные, пугающие его черты. Начинается дрожание, разложение лица на множество изменчивых ликов. С одной разницей. Это разложение России есть в то же время ее познание. Именно здесь творчество Блока достигает такой объективности, которая делает его для нас равнозначным историческому открытию. Воскрешается из забвения, собирается по черточкам таинственное для нас, оживающее ныне в истории лицо России.

Опасное исследование начинается с Русского Севера, с легкой перемены пейзажа.

Задебренные лесом кручи:
Когда-то там, на высоте,
Рубили деды сруб горячий
И пели о своем Христе.

Историческая память — раскольничьи срубы — вдвигает образ пейзажа в даль веков. Прошлое живое и поныне. «Лесные капли» зарождающихся здесь ручьев

Несут испуганной России
Весть о сжигающем Христе.

Поэт вдруг увидел в древней Руси чуждый лик Христа — словно Спас Ярое Око глянул на него с новгородской иконы.

Но не только грозный Христос пугает его в Северной Руси.
Ему мерещатся в ней колдовские, языческие чары.

Лишь мох сырой с обрыва виснет,
Как ведьмы сбитая кудель.

Но чары действуют. Образ спящей колдуньи с ресницами,
опушенными мхом, разворачивается в целое видение, в дифи-
рамбический гимн — «Русь»:

Ты и во сне необычайна.
Твоей одежды не коснусь...

Неверный, он сейчас же сбрасывает покровы, окутывающие
тайну, и видит странную, «необычайную», но далекую от свя-
тости Русь.

С болотами и журавлями
И с мутным взором колдуна...
Где ведуны с ворожеями
Чаруют злаки на полях,
И ведьмы тешатся с чертями
В дорожных снеговых столбах.

Мы едва узнаем лицо Руси в этой недоброй колдунье. Всего
замечательнее: Русь теряет здесь славянские черты, превраща-
ясь в хоровод «разноликих народов».

Мы, впрочем, еще не вышли из северных болот и дебрей.
Только осень сменилась метельной зимой — недоброй магиче-
ской стихией поэта, — и чужекровная Русь глянула на нас
финскими глазами. Историческое ясновидение вскрывает плас-
ты огромной глубины. Поэт сам дает этнографическую разгадку
своей Руси.

Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь!²⁵

Разглядев ее языческую, дославянскую природу, он уже не
верит крестам ее церквей, когда-то возникшим для него из се-
верных болот, не верит ее «синему, росному ладану».

И «не старческий, не постный лик» чудится ему под цвет-
ным московским платком.

Сквозь земные поклоны, да свечи,
Ектеньи, ектеньи, ектеньи, —
Шопотливые тихие речи,
Запылавшие щеки твои...

Блок знал чары русской, сжигающей, беспамятной страсти. От Снежной Дамы через цыганку — к «тихой солдатке», разлетевшийся вихрем малявинских баб²⁶:

Смотрю я — руки вскинула,
В широкий пляс пошла...
Неверная, лукавая,
Коварная, — пляши!²⁷ —

под звуки русской гармоники.

И в страсти, как в колдовстве, старая тема измены — «неверная, лукавая» — вторгается, отравляя, а может быть, усиливая очарование.

Впрочем, гармонику поэт любит слушать в рабочих пригородах. Коварная плясунья, должно быть слободская девка, и пляс ее и разгул — из мещанских тем, из песен Фаины. Для Северной Руси поэт оставил ведовство, точно изнанку святости. Северный разгул — осенний, сквозь пьяные рыдания. Для темы вольного, цыганского разгула поэт ищет иных пейзажей.

Прискакала дикой степью
На вспененном скакуне.
— Долго ль будешь лязгать цепью?
— Выходи плясать ко мне!

Кто эта степная Млада, «дикой вольности сестра»? Что-то не верится в ее славянское имя. Цыганка ли она, любительница «краденых кладов», или иная тяжелая кровь струится в ней, — но тема степей сразу же ассоциируется с неславянской стихией. А где же настоящая, «привольная» Русь со «светлыми глазами» («Вольные мысли»)? с простором полей и безгрешной любовью? Мы уже видели, говоря о Блоке «Прекрасной Дамы», почему для него невозможно слияние с «земным пиром» земли. Один лишь раз Блок сделал попытку облечь свою русскую любовь в светлые, славянские одежды:

— Здравствуй, князь!
Вот здесь у меня — куст белых роз.
Вот здесь вчера повилика вилась²⁸.

Но и князь, и повилика лишь отголоски юношеской грезы певца «Прекрасной Дамы»:

Повиликой средь нив золотых
Завилась я на том берегу²⁹.

Нет, Блоку чужда славянофильская Русь, пожалуй, еще более, чем Русь народническая. Русь для него не икона, и боится

он, смотря на нее, новых обманов. Все мы знаем, что нет пределов низости, где отрекся бы он от России («Грешить бесстыдно») — скорее от Христа отречется:

В тумане да в бурьяне,
Гляди — продашь Христа
За жадные герани,
За алые уста!³⁰

Неразрывно связаны: славянская стихия, простор полей и славянофильская, идеализированная Москва. Блок, несомненно, не любит Москвы. Об этом мы догадываемся уже по его молчанию. Случайные воспоминания о «прозрачной нежности Кремля в час утра чистый и хрустальный»³¹ не в счет для него, певшего Петербург. Не поверив в святую Москву, Блок разглядел мрачную тяжесть ее исторического призвания:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма...

Он, который готов простить ей все, теперь грозит разрывом любовной связи, вспоминая московскую «тьму». Конечно, это бессильная угроза навеки прикованного сердца. Но его любовь к родине зорка, как ненависть. Под его мучительным взглядом распадается исторический миф России, оставляя тяжелое сомнение:

Знала ли что, или в Бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых.

Знакомый мир: финская Русь для поэта реальнее славянской. Исторический подвиг Руси не удался:

До Царьградских святынь не дошла...
Соколов, лебедей в степь распустила ты —
Кинулась из степи черная мгла.

Из разложения старой славянофильской схемы Святой Руси рождается новая философия ее истории: финская северная Русь отважилась на бой со степной, татарской стихией, и в этой борьбе тьма одолела ее. Вражескую тьму она приняла в себя, и с той поры

Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...
Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим.

Русь сама обратилась в ханское кочевье — оттого тяжесть и тьма Москвы. И напрасно поэт проклинает свою любовь, от малчивается на призыв Млады. Голос татарской Руси громко звучит в сердце, заглушая славянские звуки.

В «Новой Америке» мы имеем своего рода историко-географическую карту блоковской России. Поэт начинает свое путешествие по занесенной снегами «убогой, финской Руси». Но едва разглядел он ее «запылавшие щеки» —

Дальше, дальше... и ветер рванулся,
Черноземным летя пустырем.
Куст дорожный по ветру метнулся,
Словно дьякон взмахнул орарем.

Вот и вся она — черноземная, подлинно русская Россия: сплошной пустырь, о котором нечего сказать: даже куст-дьякон едва ли не из Андрея Белого³². Этот провал славянской, черноземной России — самое примечательное в национальной интуиции Блока. В самом центре его географической карты (вот оно, истинное «оскуднение центра») зияет черное пятно. Черное пятно вокруг Москвы, расползаясь радиусами на сотни верст, предвещает близкий провал национального единства: СССР.

А уж там, за рекой полноводной,
Где пригнулись к земле ковыли,
Тянет гарью горючей, свободной,
Слышны гуды <в> далекой дали.
Иль опять это... стан половецкий
И татарская буйная крепь?
Не пожаром ли фески турецкой
Забуянила дикая степь?

Половецкая, татарская Русь воскресает на наших глазах буйством заводов, царством донецкого угля.

Черный уголь — подземный Мессия, —

в новой Америке встает старая Орда. Но ведь за хаосом огня в доменных печах должен стоять строй машин, тяжелый порядок, — и татарская орда на миг является у Блока в виде «буйной крепь», предваряя евразийскую концепцию Золотоордынской государственности.

Наш анализ окончен. Татарская Русь непосредственно подводит нас к циклу «Куликова поля», из которого мы исходили. Теперь в нем нет для нас ничего загадочного. Мы понимаем раздвоение лица России, понимаем смысл измены. Единственно новое для нас — это «белый» образ Руси, оцерковленный и воз-

несенный в непосредственную близость «Небесной Жены». Со времени Прекрасной Дамы Блок не дерзал писать иконописных ликов, и только здесь он становится в религиозное отношение к Святой Руси. В этой Северной Руси нет ничего финского, загадочного, колдовского. Тем страшнее и стремительнее измена.

Другая волнующая черта этого цикла — его актуальность.

Он обращен к будущему, а не к прошлому. Блок мысленно стоит перед грядущей революцией, «началом высоких и мятежных дней», и сознает повелительную необходимость выбора. Но он объективно прав: образ России двоятся не только в его предательском сердце, — единой России нет. Быть может, в этом ее расколе объяснение того, почему родина не могла исцелить поэта, не могла научить его верности.

При всем социальном радикализме Блока, при всем отвращении его от мира «сытых», он долго верил в святость «белого знамени». В октябрьские дни 1905 года для него еще кажется прекрасным

С дикой чернью в борьбе бесполезной
За древнюю сказку мертвым лечь³³.

И в страшные годы войны он еще уверяет: «Я не предал белое знамя»³⁴.

Очевидно, революция должна была ощущаться им в своей оргиастической, татарской стихии. Для поэта исключается верность ей, служение ей, — он мог лишь упасть в нее, утонуть в ней.

Но революция 1917 года была воспринята им не только как русское явление. Долгие годы поэт слушал в мире — европейском — подземный гул, предчувствуя обвал ненавистного буржуазного мира. Тогда-то поэт Блок стал публицистом, чтобы уяснить для себя смысл надвигающейся энергии, которая разрядилась в создании «Скифов».

Нам остается одно: наметить генезис самого образа «Скифов». Его «Двенадцать» — это не Россия. «Двенадцать» созданы не по линии воплощений родины, а продолжают городские, фабричные, уличные мотивы «Нечаянной Радости». «Скифы» рождаются, несомненно, из «Поля Куликова».

Рождение это, однако же, лишено органического характера. В творчестве Блока нельзя найти зародышей этого образа. Он создан искусственно, умышленно и в этом смысле должен быть изучен в связи с публицистикой: тема «крушения гуманизма». Однако можно отдать себе отчет в том, как возник этот образ.

Становясь на сторону революции, Блок отдается во власть дикой, монгольской стихии. Но он не хочет совершать измены до конца и обороняется от судьбы эклектическим образом «евразийского» смысла.

Да, азиаты мы
С раскосыми и жадными очами.

Но «варварская лира» сзывает «на братский пир». Эта лира, собственно, не скифская, а славянская лира, и восходит она не только к Пушкину (как сам образ «Скифов» с их ритмом), а даже к Жуковскому, «певцу во стане русских воинов». Между «мирной лирой» и страстью разрушения, которая составляет подлинный пафос поэмы, конечно, невязка, конечно, двуликость. Потому-то и взял поэт этот почти мифологический (сродни кентаврам) образ, что он двулик: азиатской роже должно соответствовать славянское лицо. Но это певучее славянство не имеет ничего общего с белой Русью Блока. Оно насквозь искусственно в своей великолепной риторике. Патриотическая муза Жуковского вторит в нем манифесту Совета рабочих и солдатских депутатов. Поэтому оно неубедительно. Зато «азиатская рожа» удалась необыкновенно. И перевес ее свидетельствует о том, что начала хаоса, распада, «ущербной луны» победили для поэта, на Куликовом поле.

